

Вагим Кожин

**ГРЕХ
И СВЯТОСТЬ
РУССКОЙ ИСТОРИИ**

МОСКВА
«ЯУЗА»
«ЭКСМО»
2006

5 декабря (23 ноября по старому стилю) 1803 года в селе Овстуг, расположенном на берегу Десны, в сорока верстах от Брянска, явился на свет человек, чье духовное наследие будет жить, пока вообще будет жива русская и мировая культура. В 1883 году — в восьмидесятую годовщину со дня рождения Федора Ивановича Тютчева — его младший современник Афанасий Фет сказал о книге стихотворений «обожаемого» им поэта:

Здесь духа мощного господство,
Здесь утонченной жизни цвет...

И в самом деле: в тютчевской поэзии — притом не только во всей ее целокупности, но и в большинстве отдельно взятых стихотворений — нерасторжимо слиты предельная *мощь* и столь же предельная *утонченность* — качества, казалось бы, крайне трудно или даже вообще не соединимые...

Как же это могло совершиться? Если сразу предложить краткий ответ на сей вопрос, уместно сказать, что в поэзии Тютчева воплощено духовное состояние (и порожденное им *творческое деяние*), исстари определяемое словом *соборность*. Но такой ответ требует пояснений, ибо понятие о соборности сложно и емко по своему содержанию, а кроме того, его сплошь и рядом толкуют неверно, в сущности подменяя другим понятием, которое обозначается словом «общинность».

Общинность — это единение людей, единение добровольное (иначе перед нами явится не община, а казарма), но все же так или иначе, в той или иной мере означающее ограничение собственно личных человеческих качеств и устремлений, подчинение личности определенным общим интересам и целям. Между тем

соборность рождается только при совершенно свободном, ничем не связанном и не ограниченном самораскрытии личности. Такова соборность общей *молитвы*, в которой отдельные люди сливаются воедино отнюдь не потому, что подчиняют себя каким-либо лежащим вне их личности стремлениям; каждый обращается к Богу как раз из самой глубины своей личности, и полнота слияния, единство молящихся определяется вовсе не их подчинением «общему», но, напротив, полнотой их всецело личного самораскрытия перед *высшим* (а не «общим») началом.

Есть точка зрения, согласно которой соборность, определяемая в этом духе, есть именно только религиозное (и церковное) понятие. Но это верно лишь в том отношении, что соборность выступает в жизни Церкви с наибольшей ясностью и чистотой. Вместе с тем соборность может воплощаться и в иных актах поведения объединившихся людей — в подвигах, совершаемых во имя Отечества, или ради торжества справедливости, или в целях освоения еще не подвластных человечеству пространств мира и т.д. В высших проявлениях этих человеческих деяний органическая воля личности способна на безусловно *свободной* основе слиться с другими личными волями в стремлении к не замутненному какой-либо узколичной, частной корыстью идеалу.

Мы говорим о соборности как о качестве, о характере реального деяния. Но этому деянию, конечно, должна предшествовать или непосредственно сопутствовать соборность самого *сознания*, соборность как основа «деяния» самих человеческих душ, как основа переживания бытия. И переживание бытия, воплощенное в поэзии Тютчева, насквозь проникнуто соборностью, и именно потому в этой поэзии цветенье утонченной жизни *личности* нераздельно слито с господством мощного духа, который осуществляется в целом *народом* и, далее, в целом человечества.

Чтобы подтвердить этот тезис, я буду рассматривать не столько содержание поэзии Тютчева, сколько ее

форму — притом чисто «внешнюю», грамматическую ее форму. В чем преимущество такого подхода к делу?

Любое толкование «внутреннего» смысла поэзии неизбежно имеет субъективный, более или менее произвольный характер. Если я говорю, что поэт «выразил» в своих стихотворениях такой-то и такой-то смысл, другой человек имеет полную возможность оспорить мои суждения и предложить иное истолкование смысла этих стихотворений.

Но если речь идет об элементах словесной формы, наглядно и неопровержимо представляющих перед нами в текстах стихотворений, тут уже спорить нелегко или даже невозможно.

Впрочем, мне могут возразить, что, мол, форма эта все же только форма и мы должны не застревать на ней, а стремиться проникнуть в находящееся «под ней» содержание. К сожалению, такое представление о поэтической форме очень широко распространено. Между тем в действительности поэтическая форма целиком и полностью *содержательна*; она в конечном счете представляет собой не что иное, как *явленное*, непосредственно данное нам содержание, которое мы постигаем и усваиваем, воспринимая именно и только форму. Любой ее элемент исполнен смысла, но поскольку нам-то как раз и нужен и дорог смысл, притом целостный смысл стихотворения, мы склонны пренебрегать формой, видеть в ней лишь своего рода «одежду» содержания.

Это совершенно неверно; поэтическая форма, повторюсь, и есть содержание, как оно явлено для нас, для нашего непосредственного восприятия, и потому в содержании нет ничего, чего не было бы в форме. Часто говорят о «подтексте» стихотворения, который будто бы не воплощен, не явлен во внятном нам тексте. Но если бы «подтекстового» пласта смысла действительно не было в *тексте* как таковом, мы вообще не могли бы его постичь; «подтекст» — это всего лишь обозначение наиболее тонких, наиболее трудно уловимых элементов самого текста, то есть формы.

После этих необходимых соображений общего характера обратимся к поэзии Тютчева. Никто, думаю, не сомневается в том, что в его стихотворениях перед нами предстает исключительно высокоразвитая жизнь человеческой души, притом жизнь глубоко личностная, абсолютно свободная от каких-либо «внеличных» требований и условий, жизнь — исходя из фетовского определения — *цветуще-утонченная*.

Такое поэтическое содержание вроде бы должно восприниматься как нечто замкнутое в себе и способное заинтересовать других людей, читателей, в качестве своего рода уникама, экзотического образчика изощренных душевных состояний. Нередко поэзию Тютчева и толковали именно в этом плане. Так, влиятельный в начале XX века критик и литературовед Аркадий Горнфельд писал о Тютчеве, основываясь на его знаменитом стихотворении «Silentium!» («Молчание!»): «...автор «Silentium!», он творил почти исключительно «для себя», под давлением необходимости высказаться перед собой и тем уяснить себе самому свое состояние».

Сразу же скажу, что эти утверждения явно противостоят действительному положению вещей: ведь множество людей постоянно повторяет тютчевские строки из «Silentium!»:

Молчи, скрывайся и таи
И чувства, и мечты свои... —

повторяет как свое *собственное* достояние, как воплощение органически *своего* переживания. Впрочем, об этом удивительном стихотворении мы еще будем говорить. Но каждый, конечно, согласится с тем, что тютчевские «Люблю грозу в начале мая...» или «Я встретил вас, и все былое...» все мы постоянно повторяем в качестве именно нашего, всецело своего достояния.

Любопытно, что другой толкователь поэзии Тютчева, известный в свое время литературовед и искусствовед Борис Михайловский, недвусмысленно отмечая в своей статье, опубликованной в 1939 году, что в стро-

ках «Молчи, скрывайся и тай» и т.д. воплощены «мотивы замкнутости, изолированности личности», вместе с тем утверждал:

«Однако не эти моменты определяют *основную* направленность и своеобразие поэзии Тютчева. Поэт стремится передать не свои особенные, индивидуальные переживания или произвольные фантазии, но постичь глубины объективного бытия, положение человека в мире, взаимоотношения субъекта и объекта и т.д. Психологические состояния, личные душевные движения Тютчев дает как проявления жизни мирового целого».

Итак, у Тютчева, мол, есть стихотворения, выражающие принципиальную «замкнутость» и «изолированность» личности, но в то же время есть и другие, где «личные душевные движения» представлены, напротив, как «проявления жизни мирового целого». Последнее, в общем, верно, однако никак нельзя согласиться с тем, что для достижения этого результата Тютчев будто бы поставил перед собой цель «передать не *свои* особенные, индивидуальные переживания», а, якобы преодолев их, отказавшись от них, «постичь глубины объективного бытия».

То явление, которое обозначается словом «соборность», рождается именно тогда, когда «глубины объективного бытия» свободно и естественно сливаются с глубинами существования личности, и чем глубже самораскрывается личность, тем полнее ее единство с «жизнью мирового целого».

И если выразиться кратко и просто, в основе тютчевского творчества лежало стремление соединить, слить свое глубоко личное переживание бытия с переживаниями каждого, любого человека и всех людей вообще — то есть, если угодно, с мировым целым. В своем стихотворении на смерть Гёте поэт так определил основу превосходства германского гения над современниками:

На древе человечества высоком
Ты лучшим был его листом...
С его великою душою
Созвучней всех на нем ты трепетал!

Итак, высшая цель — быть наиболее «созвучным» с «великою душою» всего «древа человечества». Могут возразить, что этой цитаты недостаточно для доказательства тезиса о владевшем Тютчевым стремлении к единству с «мировым целым», со всеми и каждым человеком. И вот здесь-то и уместно или даже необходимо обратиться к самим тютчевским текстам, к форме его поэзии, где наглядно, осязаемо запечатлено это властное стремление.

Все знают, что лирическая поэзия воплощается, как правило, в речи от *первого* лица в *единственном* числе — в речи от «я» (в ней употребляются также «меня», «мне», «мое» и т.д.). Между тем для глубоко лирической поэзии Тютчева типично, как это ни странно на первый взгляд, множественное число — речь от «мы» (и также «нас», «нами», «о нас», «наше» и т.д.). Количество приводимых мною далее «примеров» этой формы речи у Тютчева, возможно, покажется чрезмерным; но, во-первых, немногие цитаты могут быть поняты как некие случайные исключения, а во-вторых, вполне уместно привести многочисленные строки великого поэта, которые своим сияньем напомнят о тех десятках стихотворений, откуда они извлечены:

И *мы* плывем, пылающею бездной
Со всех сторон окружены...

Когда, что звали *мы* своим,
Навек от нас ушло...

Но силу *мы* их чуем,
Их слышим благодать...

Что в существе разумном *мы* зовем
Божественной стыдливостью страданья...

Как увядающее мило!
Какая прелесть в нем для *нас*...

Соборность лирики Ф.И. Тютчева

Кто без тоски внимал из *нас*
Среди всемирного молчанья...

И тяготеющий над *нами*
Небесный свод приподняли...

И бездна *нам* обнажена
С своими страхами и мглами...

Но, ах, не *нам* его судили:
Мы в небе скоро устает...

Она с небес слетает к *нам* —
Небесная к земным сынам...

Нам не дано предугадать,
Как слово *наше* отзовется...

Та непонятная для *нас*
Истома смертного страданья...

Стоим *мы* смело пред Судьбою,
Не *нам* сорвать с нее покров...

Своей неразрешимой тайной
Обворожают *нас* они...

Лишь в *нашей* призрачной свободе
Разлад *мы* с нею сознаем...

Как *нас* не угнетай разлука,
Но покоряемся *мы* ей...

Чему бы жизнь *нас* ни учила,
Но сердце верит в чудеса...

Когда дряхлеющие силы
Нам начинают изменять...

Две силы есть — две роковые силы,
Всю жизнь свою у них *мы* под рукой...

Природа знать не знает о былом,
Ей чужды *наши* призрачные годы...

Итак, строки из множества различных стихотворений ясно свидетельствуют, что поэт постоянно вливает свое «я» в «мы» — притом в стихотворениях сугубо лирических, даже «интимных», сокровенных... И притом перед нами только одно — открытое, прямое — вопло-

шение этой его творческой воли. Как бы присоединить к себе всех и каждого можно и в иных грамматических формах. Так, обращение к «ты» и — еще более явно — к «вы», в сущности, подразумевает то же самое всеобщее «мы» (то есть «я» и «ты» — каждое, любое «ты», взятые *совместно*):

Ушло, как то уйдет всецело,
Чем *ты* и дышишь и живешь...

Каким бы строгим испытаньям
Вы ни были подчинены...

Над *вами* светила молчат в тишине,
Под *вами* могилы — молчат и оне...

То же значение имеет и глагольная форма, обращенная к «ты», хотя само это местоимение отсутствует:

Смотри, как облаком живым
Фонтан сияющий клубится...

И в стихотворении, о котором еще будет речь:

Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои...

Кстати сказать, подчас «ты» явно, открыто переходит у Тютчева в «мы»:

И рад ли *ты*, или не рад,
Что нужды ей? Вперед, вперед!
Знакомый звук *нам* ветр принес...

И *ты* ушел, куда *мы* все идем...

Прямо-таки поразительно, что Тютчев иногда уклоняется от формы «я» даже и в своей любовной лирике, где, казалось бы, просто неуместно «мы»! Вот строки стихотворений из «денисьевского цикла»:

О как убийственно *мы* любим...

Нежней *мы* любим и суеверней...

Все это не могло быть чем-то случайным и несущественным. Правда, едва ли есть основания полагать, что Тютчев сознательно и целенаправленно «заменял»

естественное для интимной лирики «я» на «мы» и другие имеющие аналогичное значение формы.

Здесь действовал не рассудок, а стихийная творческая воля, стремящаяся воплотить «я» в органическом единстве с «мировым целым», со всем «древом человечества высоким». Нередко эта воля открыто, обнаженно воплощалась в самой грамматической форме, но она, конечно же, воплощена и в тех стихотворениях, где речь от «мы» (и иные аналогичные формы) отсутствует.

И тщательный анализ таких стихотворений способен это раскрыть, хотя указанная творческая воля запечатлелась в них не столь наглядно и неоспоримо.

Словом, приведенные мною строки, в которых вместо законного, казалось бы, «я» выступает «мы», следует воспринимать как своего рода ключ к тютчевской поэзии, позволяющий открыть ее особенный закон, ее безусловную соборность.

В поэзии Тютчева вольно самораскрывается утонченная, развитая до предела личность, но в то же время дверь этой поэзии как бы настежь отворена всем, каждому, готовому свободно влить свое сокровенное «я» в соборный хор.

Обратимся в заключение к тютчевскому стихотворению, начинающемуся общеизвестной строфой:

Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои —
Пусть в душевной глубине
Встают и заходят оне
Безмолвно, как звезды в ночи, —
Любуйся ими — и молчи...

Как уже говорилось, в этом стихотворении обычно усматривают утверждение фатальной замкнутости и изолированности человеческой личности. Однако почему же любой вдумчивый читатель Тютчева с таким упоением принимает это стихотворение? Дело, очевидно, в том, что в целостном контексте тютчевской поэзии оно предстает вовсе не как символ разобщенно-

сти людей; его смысл, напротив, в утверждении высшего, благороднейшего человеческого *единения*.

Да, говорит поэт, у каждого из нас — и у тебя, и у меня, и у него — есть такая «душевная глубина», которую невозможно до конца высказать «другому» — невозможно ни мне, ни тебе, ни ему. Но каждый, любой из нас может и должен *знать* о ее существовании и благоговейно относиться к ней.

Ведь Тютчев прямо говорит каждому своему читателю, каждому человеку:

Есть целый мир в душе *твоей*
Таинственно-волшебных дум... —

в сущности, открывая тем самым, что такой «мир» есть не только в «твоей», но и в «моей», и в «его» (всякого «его») душе.

И поэтическое утверждение — даже как бы безусловное доказательство — наличия этого мира в каждой человеческой душе (и твоей, и моей, и его), во всех душах, вполне понятно, не только не разъединяет людей, но, напротив, создает, так сказать, достойнейшую основу для их подлинного единения, для истинной собранности...